

Л. Н.
АНДРЕЕВ

Избранное



Леонид Николаевич Андреев

Неосторожность

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2785955

Аннотация

«Батюшка приехал на станцию за два часа до отхода поезда. Выбрался он из дому, когда только что взошло солнце, и ехал тридцать верст среди коноплей, лесом и лугами, и пахло от него коноплей, цветами и придорожной пахучей пылью. А на станции пахло каменным углем, маслом и разогретым на солнце железом. Работник, от которого пахло так же, как и от батюшки, и, кроме того, лошадиным навозом, потом и дегтем, повернул круто тарантасик на двух боковых колесах, поправил сиденье и уехал, и батюшка остался один со своим мешочком, зонтиком и сдобными лепешками...»

Содержание

Часть 1	4
Часть 2	7
Часть 3	10

Андреев Леонид Николаевич Неосторожность

Часть 1

Батюшка приехал на станцию за два часа до отхода поезда. Выбрался он из дому, когда только что взошло солнце, и ехал тридцать верст среди коноплей, лесом и лугами, и пахло от него коноплей, цветами и придорожной пахучей пылью. А на станции пахло каменным углем, маслом и разогретым на солнце железом. Работник, от которого пахло так же, как и от батюшки, и, кроме того, лошадиным навозом, потом и дегтем, повернул круто тарантасик на двух боковых колесах, поправил сиденье и уехал, и батюшка остался один со своим мешочком, зонтиком и сдобными лепешками. На минуту батюшке взгрустнулось, и он крикнул слабым тенорком:

– Иван! А Иван!

Но работник был далеко и не слышал. И вдруг батюшке стало весело: и от того, что он один в таком незнакомом и необыкновенном месте, и от того, что

едет в город, и от ясного, безоблачного неба, которое поверх железной крыши широко и успокоительно синело на него. Сперва он чинно посидел на скамейке, приятно чувствуя, что он уже во власти того сложного и нестерпимо любопытного, что называется поездом и железная дорога; но так как на станции не было ни души, то осмелился и начал всюду осторожно заглядывать. Заглянул в буфет: там стоял длинный стол, покрытый мраморной клеенкой, и по клеенке ползали мухи. Почтительно заглянул в телеграфную: там тоже не было никого, и аппарат один что-то выстукивал, выпуская длинную, белую ленту. Батюшка покачал головой, поперхнулся и сказал:

– Премудрость!

Постоял у кассы, но, так как касса была заперта и никого, кроме него, не было, пошел на платформу.

Понравилась ему и платформа: была она длинная, чистая, деловитая, кое-где просмоленная, кое-где залитая асфальтом, – как и надо для такого большого и важного дела. И в разные стороны бежали от нее лоснящиеся рельсы, точно хранящие еще следы бесчисленных, грохочущих поездов; и если поехать в одну сторону, то приедешь в один неведомый конец мира, а в другую – в другой такой же неведомый, такой же загадочный конец. Эта мысль так взволновала батюшку, что он чуть не бегом отправился к кассе, одна-

ко – заперта, и ни души народу. Все еще рано.

– Удивительно! удивительно! – важно и даже строго говорил батюшка и энергично покачивал головой, от чего с волос его и с одежды незаметно сыпалась тонкая дорожная пыль. Вероятно, от этой пыли, смягчавшей шелест одежд, движения его были бесшумны, и только сапоги громко выстукивали большими подкованными каблуками, до неприличия громко. Поэтому сошел с платформы на путь, на мягкий, шуршащий песок, – и увидел паровоз. Большой, черный, грязный паровоз. Стоял он на запасном пути и как будто спал, – но было в этом явное притворство. При всей своей неподвижности и тишине казался он настоящим повелителем этих мест, суровым, железным чудовищем, полным скрытой силы и безграничного, неудержимого стремления. Это он, если захочет, может улететь в тот или другой конец света. Это он с грохотом, лязгом, свистом проносится днем и ночью по скользким рельсам, орет, разгоняет народ, давит неосторожных, зажигает на всем своем пути зеленые и красные огни – он, неподвижный и грязный комок железа, непонятное сплетение колес, труб и рычагов.

– Удивительно! – сказал батюшка с ударением.

– Удивительно!

А над головой синело широкое, безбрежное небо и звало куда-то.

Часть 2

Но, видимо, он и вправду спал. Ни дыма, ни шороха – совсем как мертвый. И на тендере никого. Была полная возможность протянуть руку и осторожно погладить самое колесо. Батюшка сделал это, но почему-то раньше послюнил пальцы, как будто боялся обжечься. Еще послюнявил...

Оглянулся испуганно – через путь идет баба и смотрит на него. Нахмурился и сделал вид, что поправляет бороду, достал синий клетчатый платок и долго вытирал лицо: пусть баба думает, что запотел. Действительно запотел, на платке от пыли и пота остались грязные полосы. Обманутая баба ушла, и батюшке нестерпимо захотелось подмигнуть кому-то. Подмигнул и засмеялся: вот бы посмотрели прихожане, – поп, а что делает. Но тут же батюшка понял, что все это очень серьезно, совсем не смешно, а касса, может быть, уже открыта. Нет, все еще заперта, и до отхода поезда час с четвертью. Прошел через залу сторож и поглядел на батюшку; батюшка кивнул ему головой, и сторож поклонился.

«Вежливый народ, ученый, не то что наш», – одобрительно подумал батюшка и совсем смело, напрямки, отправился к спящему паровозу. И теперь показал-

ся он батюшке чем-то вроде доброй, спокойной лошади, и, как лошади перед работой, батюшка сказал ему покровительственно:

Ну, ну, отдохни, отдохни. Скоро, брат, опять пове-
зешь.

Паровоз благодушно молчал. Если подойти с той стороны, то со станции не видно. Батюшка взялся за ручку, полез, но оборвался. Покраснел и долго качал головой, осыпая пыль, и улыбался в пространство. Подумал и положил на песок зонтик и мешочек, опять взял, опять положил и, подобрав рясу, осторожно взлез. Было всего три ступеньки, а батюшке показалось высоко, как на колокольне.

– Удивительно. Уди-ви-тельно, – сказал батюшка тоном вдумчивым и строгим, каким говорил обыкновенно о таинственной науке и ее чудесах. И, уже чувствуя себя немного как бы ученым, непринужденно погладил что-то рукой. Но, в сущности, ничего не понимал, а только верил: многообразии частей машины, их неясные отношения друг к другу, стрелки, цифры, рычаги – все говорило о большой работе, о сложной и пытливой мысли, о чем-то значительном и многообещающем. И было особенно приятно, что сам он, захо-
лустный сельский поп, был как бы причастен ко всему этому – по своему человеческому естеству и уваже-
нию к науке. – Да, вот это – выдумали! Вот это – вещь!

Удивительно, – говорил батюшка и искоса, с презрением покосился на мешочек и зонтик. Теперь и зонтик показался ему не важным, а когда купил, то читал о нем лекции. Конечно, пустяки в сравнении с тем, что наворочено здесь. Потрогал одну ручку – ничего. Потрогал другую – вдруг что-то громко зашипело, и паровоз как-то подозрительно ожил. Где-то шипит. Повертел головой, нагнулся – шипит. Батюшка побледнел, и сердце у него забилося: тук-тук – вдруг придет машинист, что ему тогда сказать? Осторожно нажал на что-то – шипеть действительно перестало, но задержалось: раз-раз, раз-раз. Это еще хуже. Беспомощно взглянул на зонтик и дернул рукоятку, – что-то толкнуло его назад, потом вперед, потом поставило прямо на широко раздвинутых ногах. Не успел батюшка обрадоваться, что спасся, взглянул, – а кругом все плывет; столб плывет, глянул назад, – а там уплывает зонтик и мешочек.

– Еду.

Часть 3

Бренчит, грохочет, дергает, тяжело сопит и переваливается – чистый зверь. И нигде притронуться нельзя, все перепуталось. Повернул что-то батюшка: паровоз прыгнул вперед, как кошка, и побежал вперед так быстро, что в ушах завывало от ветра. А еще раз что-то повернул, не то дернул – над головой раздался дикий, оглушительный свист, не то рев, что-то ужасное, окончательно невозможное. То хоть тихо ехал, а то рев поднял на весь свет.

– Господи! – взмолился батюшка. Но и молитвы не было на такой случай! – Господи, Господи... А что дальше?

Высунул голову – сорвало ветром шляпу, и пыльные волосы закружились на голове, полезли в рот, бьют в глаза. Сердце давно уже перестало биться, – и как он жив – батюшка сам не знает. Когда выпутался из волос – ни шляпы, ничего не было. Был какой-то лес. Сумасшедший лес, стремительно несущийся назад, прямо в бездонную яму.

Господи! – мост. Др... ж... Вот и моста нет, ничего нет. И земля куда-то опустилась вниз, а батюшка и паровоз полетели вверх-вверх.

– Господи! Вот мальчишка около стада – маль-

чик-мальчик! Вот сторожка, сторож машет красным флагом, и лицо у него белеет ужасом – сторож-сторож! И опять ничего, а земля наверху, а кусты несутся над головой.

Совершенно ясно становится, что это нарочно, что этого не может быть – иначе что же такое лепешки? Зонтик и лепешки. А где же они?

– Лепешки мои. Лепешки, – бормочет батюшка и кривит лицо от слез. Это было счастье, это был рай, это было безграничное, невероятное блаженство, когда он держал их под мышкой. Зачем он шныпорила всюду, зачем трогал, зачем лазил? Сорвался раз – какое было счастье – сорвался!

– Дурак. Сволочь, – ругает себя батюшка убежденно и кстати прибавляет: – Уди-ви-тельно!

Гремит, грохочет, уставилось бельмами циферблатов, охватило железом и несет куда-то, несет. Вот снова метнулся красный флаг, как язык огня, – значит, опасность, значит, страшно впереди, страшно. Конец.

И батюшка перестает видеть, перестает слышать, перестает понимать. Стук колес, звяканье, пролетающие мимо деревья, толчки, колыхания ослабевшего тела, самые отрывки мыслей, еще пробегающих в голове, – все сливается в одно чувство неудержимого, грозного, бешеного полета. Все в нем пустеет, замирает, точно выдувается ветром. Несется ли он сам,

несет ли его паровоз – он не знает.

И это уже не паровоз. Паровоз, тот остался на станции, а это – оно, глухое, непреклонное, в страшной обнаженности своей выпирающее откуда-то из-под низу. Над ним не властны ни молитвы, ни заклинания, оно совершается непреклонно и придает миру тот страшный и необыкновенный вид, в каком является мир взорам уходящего.

На мгновение, при особенно сильном толчке ба-тюшка приходит в себя и кричит странно неподходящим голосом, каким кричат извозчику: – Стой!

И ругается такими же странно неподходящими словами:

– Да стой же, дурак. Дурак. Скотина. Скотина.

И вновь замирает, поглощенный чувством грозного и бешеного полета. И стоит, покачиваясь, такой растерянный, смятый; голова его бессильно мотается, и пыльные морщинки на бледном лице темнеют бессмысленно-кротко и жалко. Морщинки приятного смеха, тихих удовольствий, домашнего горя о заболевше.

Пусто, мертво и даже почти что спокойно – в грохоте и лязге уносящего потока. И, как далекий, тихий огонек берегового маяка, когда впереди только черные волны и буря, – чуть теплится, замирая, последняя мысль о далеких, о сдобных лепешках.